

Белла АХМАДУЛИНА

ВОЗЛЕ ЁЛКИ

КНИГА НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • МСМХСІХ
«ПУШКИНСКИЙ ФОНД»



.....
.....
Новогодний сей день есть Василий день,
что жк, Василий, мой друг, и тебе не досуд
приукрашивать ель свайно-хворые кедезь,
ходишь ели вокруг жароводит досук.

Гайль приметя верна новогоднего дня,
плохо дело мое, будет под этот мис.
Три лампаде печалько глядит на меня
вопрошающий и вопрошающий мик.

Странит светом аллюских прокази гримас
Видою расклевоты саранкой удар стужага.
Затеваля колядки, а вышел романс:
утемкилась душа, догорела свеча.

Белла АХМАДУЛИНА

ВОЗЛЕ ЁЛКИ

КНИГА НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • МСМХСІХ
«ПУШКИНСКИЙ ФОНД»**

А 95

ББК 84. Р7

На фронтисписе: фрагмент чистового автографа
стихотворения «*Святочные колядки*».

Марка издательства работы
Сергея Семенова

ГЛУБОКИЙ ОБМОРОК

I. В БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Как если бы добрейший доктор Боткин
и обо мне заране сожалел,
предавшись Солдатёнкува заботам,
очнулся жизни новичок-жилец.

Занёсся мозг в незнаемых потёмках.
Его надменный, замкнутый тайник
вернул великосердый Солдатёнков
в свои уголья — из своих иных.

Всё тот же он: доукою почёта,
тщетою хвалы поныне не влеком,
коль так же он о бедняках печётся,
душе его есть воздыхать о ком.

Как, впрочем, знать? В тех нетях, где была я,
на что семь суток извели врачи,
нет никого. Там не было Булата.
Повелевает тайна тайн: молчи!

Пульт вен и пульсов всё смешал, всё спутал.
В двух полушарий холм или проём
пытался вникнуть грамотей-компьютер —
двугорбие дурачилось при нём.

Возглавье плоти, гость загадки вечной,
живёт вблизи, как нелюдим-сосед,
многоучёный, вежливый с невеждой,
в заочье глядя, словно мне вослед.

Его попытка затесаться в луны —
примерка? примирения пример?
Ему вторженья в глушь небес нелюбы.
Он выше был. Он изучил предмет.

Не ровня мы. Он истязаньем занят:
внушать вискам неравновесья крен.

Он прав. На грех делиться крайним знанием
запрет наложен, страшно молвить: Кем.

Мозг — не сообщник помыслов о мозге.
Ниспосланную покидать кровать —
чрезмерно, как вздыматься на подмости
иль в браконьерах Марса пребывать.

Заняты уст — то пища, то зевота.
Но им неймётся, им препона есть
обмолвиться, как высший миг зовётся:
стерпеть придётся, но нельзя воспеть.

Бел белый свет. Бела моя палата.
Темнеет лоб, пустынен и угрюм.
Чтоб написать: «...должна быть глуповата»,
как должен быть здоров и строен ум.

Мой — не таков. Неодолимой порче
подверг мой разум сглаз ворожей.
Но слышится: а ты пиши попроще.
...И дух смиренья в сердце оживи...

II. ОТСТУПЛЕНИЕ О БИТОВЕ

Когда о Битове... (в строку вступает флейта)
я помышляю... (контрабас) — когда...
Здесь пауза: оставлена для Фета
отверстого рояля нагота...

Когда мне Битов, стало быть, всё время...
(возбредил Бриттен, чей возбранен ритм
строке, взят до-диез неверно,
но прав) — когда мне Битов говорит

о Пушкине... (не надобно органа,
он Битову обмолвиться не даст
тем словом, чья опека и охрана
надёжней, чем Жуковский и Данзас), —

Сам Пушкин... (полюбовная беседа
двух скрипок) весел, в узкий круг вошед.
Над первой скрипкой реет прядь Башмета,
удел второй пусть предрешит Башмет.

Когда со мной... (двоится ран избыток:
вонзилась в слух и в пол виолончель) —
когда со мной застолье делит Битов,
весь Пушкин — наш, и более ничей.

Нет, Битов, нет, достанет всем ревнивцам
щедрот, добытых алчностью ума.
Стенает альт. Неможется ресницам.
Лик бледен, как (вновь пауза) луна.

Младой и дерзкий опущу эпитет.
Сверг вьюгу звуков гений «динь-динь-динь».
Согласье слёз и вымысла опишет
(всё стихло) Битов. Только он один.

III. ПОСЛЕСЛОВИЕ К I

Прочла я бредни об отлучке мозга.
(Исподтишка мозг осмелял листок.)
Где бы моё отсутствие ни мёрзло,
вновь бытия порозовел восток.

Никчёмен мой исповедальный опус:
и слог соврал, и почерк косолап.
Что он проник в запретной бездны пропасть —
пусть полагает храбрый космонавт.

Какого знания мой взлёт набрался,
где мертвенность каникул проводил, —
сокрыто. Не прощают панибратства
обочины созвездий и светил.

Добытое заумственным усильем
надзору высших сил не угодит.
Словам, какими преподобный Сирин
молился Богу, внял ещё один —

любви всепоцелуйная идея,
зачем он так развязно не забыт?
Как страшно близок День его рожденья!
Что оскорблён — ужасней, чем: убит.

«Пустынники и девы непорочны»
не отверзают попусту уста.
Их устыдясь, хочу писать попроще,
предслыша, как поимка не проста.

В больничной койке, как в кроватке детской,
проснуться поздно, поглядеть в окно,
«Мороз и солнце, — молвить, — день чудесный»,
и засмеяться: съединил их кто —

не ведает девчонка-санитарка,
сама свежа, как солнце и мороз,

которые так щедро, так недавно
ей суждены надолго, но поврозь.

Солнцеморозным личиком любуясь,
читаю в нём доверье и вопрос.
Что плох мой стих — забуду, в нём забудусь,
как девочка, он беззащитно прост.

Лишь гению звериному не в новость
ничто не принимать за простоту:
и краткое забвение должно быть
настороже, на страже, на посту.

В целебном охранительном постое
жизнь тайно длит и нежит свой недуг.
Писать и знать: всё прочее — пустое,
не спать в ночи, снотворный яд надув.

Ещё меня ласкала белостенность,
сновал на белых крыльях п е р с о н а л.
Как мне безгрешной радости хотелось!
Мне — долгий грех унынья предстоял.

В отлучке бывший — здесь он или там он,
зачем он мне? Скончанье дня отбыв,
мороз — стал холод, солнце смерклось в траур.
Сердцебиенья и строки обрыв.

IV. ПОСВЯЩЕНИЕ ВОСЛЕД

Галине Васильевне Старовойтовой

Вот так всё было: как в поля и рощи,
в больничный двор я отсылала взор,
писать желая простодушно-проще,
но затрудненье заключалось в том,

что разум истерзало измышление
о нём же — он иначе не умел.
Затылка сгусток, тягостный для шеи,
пустым трудом свой усложнял удел.

И слабый дар — сородственник провидцев.
Мой — изнемог и вовсе стал незряч.
Над пропастью заманчивой повиснув,
как он посмел узнать, а не предзнать?

Нет, был в нём, был опаски быстрый промельк —
догадок над-сознания поверх.
Мой организм — родня собакам — понял,
почуял знак, но нюх чутья отверг.

Отверг — и мысль не утемнила вечер,
когда висками стиснутый мотив
наружу рвался, понуканьем вещим
мой лоб не запрокинув для молитв.

Вдруг — сосланный в опалу телевизор
в стекле возжёт потусторонний свет.
В нём — Петербург, подъезд, бесшумный выстрел.
Безмолвна смерть и громогласна весть.

Зрачков и мглы пустыня двуедина,
их засухе обычай слёз претит.
Дитя и рыцарь мне была родима.
Сквозил меж нами нежности пунктир.

Мы виделись. Последний раз — в июне.
От многословья, от обилья лиц
мы, словно гимназистки, увильнули,
к досаде классной дамы — обнялись.

Рукопожатье и объятье — оцупь
добра и зла. Неспрошенный ответ
встревожит кожу, чей диагноз точен:
прозрачно-беззащитен человек.

Как близко то, что вдалеке искомо:
ладонь приветить и плечо задеть.
(Сколь часто обольстительна истома:
податель длани — не вполне злодей.)

Там, сторонясь лукавств и лакомств зала,
где обречённость праздновала власть,
она мне так по-девичьи сказала:
— Я вышла замуж... — Поздравляю Вас! —

Никчёмной обойдясь скороговоркой,
пригубила заздравное питьё.
А надо бы вскричать: — Святой Георгий
(он там витал), оборони её!

По-девичьи сказала и смутилась.
С таким лицом идут в куртины, в сад.
В ней юная застенчивость светилась,
был робко ласков и доверчив взгляд.

Разросся миг: незвано и нехитро
глухой мне возмерещился уезд:
шаль потеплей и потемней накидка,
и поскорее — прочь из этих мест!

Тогда ли промельк над-сознания понял,
что страшно вживе зреть бессмертный дух?
Ещё страшней, что счастье и подвиг —
и встретятся, да вместе не пойдут.

Подсказке упомянутой опаски
заране проболтаться было жаль.

С колечком обручальным — в лютой пасти
возможно ль долго ручку продержать?

Срок предрешённый загодя сосчитан.
Заманивать обжору калачом
иль охранять сверканьем беззащитность —
мишень зазывна, промах исключён.

Что с отомщеньем разминётся нечисть —
мне скушно знать, неинтересно знать.
Занятие и служба сердца — нежность,
ей недосуг возмездье призывать.

Июньский день любовью глаз окину
из пустоты моих декабрьских дней.
Услышит ли, когда её окликну?
До сей поры я льну и лацусь к ней.

Смерть — торжеству собратна, соволшебна.
Избранника судьба не истекла.
Сюжет исполнен стройно, совершенно
и завершён — как гения строка.

V. СЮЖЕТ

В году родившись роковым,
не ведает младенец скромный,
что урожденья приговор —
близнец и спутник даты скорбной.

Не все ли сделались мертвы,
не все ли разом овдовели,
пока справлял разбой молвы
столетний юбилей Дуэли?

Едва зрачок возголубел
дитяти розных одиночеств,
кто населяет колыбель —
уже разглядывал доносчик.

Сей дружелюбный душегуб —
всей жизни страж и раб послушный,
коль самого не пришибут
за леность иль на всякий случай.

Растёт, глядит на белый свет
избранник ласки коммунальной.
Редет теснота соседств —
их поглощает мрак фатальный.

Гнушаясь дребезгом кастрюль,
в ту комнату, где жил покойник,
внедряет скрытный свой костюм
почти или уже полковник.

Война. Под вой сирены — бег
в аид убежища. Отлучка —
не навсегда ли? В новость бед
влачится хладная теплушка.

Дитя умрёт. Его польют
живой водой, вернут обратно.
Над Красной площадью — салют.
Победа: слёзы и объятья.

Всё хорошо. Но пионер
измучен измышлённым знаньем
о том лишь, как страдает негр,
хлыстом плантатора терзаем.

Подросток впущен в комсомол.
Его созвездье — кроткий Овен,
но физкультурник-костолом
его к Бэ-Гэ-Тэ-О готовит.

Он не готов. Во тьме ночей
он призрак Вия видит в окнах.
Вот избиение врачей
на школьниц пало чернооких.

Всё гуще, всё мрачней сюжет,
его герой иль сочинитель —
должно быть, родом из существ,
кто иль злодей, иль небожитель?

Иль некто третий — кто он есть?
Его душа вздохнуть способна,
и высшей милостью небес
он уцелеет, он спасётся.

Он помышляет об одном:
сокрывшись в тайных упоеньях,
как долго он живёт в родном
краю убийц и убиенных.

Как много он извёл свечей
тщетою полночного раденья,
с опаскою предзная: Чей
грядёт двухсотый День рожденья.

Но сердце изнурять тоской
неутолимой, ежедневной —
зачем? Всё сказано строкой,
воспевшей д у б у е д и н е н н ы й...

Возглавие стола — возлюбленная лампа —
вновь припекала лоб и черновик ночной.
Кот глаз приоткрывал. И не было разлада
меж лампой и душой, меж счастьем и мной.

За пристальным окном — темно, безлюдно, лунно,
непрочной белизной очнуться мрак готов.
Уж вдосталь, через край, — но счастье к счастью льнуло,
и завтракать мы шли, сквозь сад, вдвоём с Котом.

Пригожа и свежа, нас привечала Нина.
Съев кашу, хлеб и сыр я прятала в карман.
Припасливість моя мелка, но объяснима:
залив внимал моим карманным закромам.

Хоть знают, что приду, — во взбалмошной тревоге
все чайки надо мной взреют, воскричат.
Направо от меня — чуть брезжут Териоки,
и прямо предо мной, через залив — Кронштадт.

Я чайкам хлеб скормлю, смущаясь, что виновна
пред ненасытной их и дерзкой белизной.
Скосив зрачок ума, за мной следит ворона —
ей не впервой следить и следовать за мной.

Встреч ритуал таков: вот-вот от смеха сникну...
— Вороне как-то Бог... — нет, не могу, смеюсь,
но продолжаю: — Бог послал кусочек сыру —
и достигает сыр вороньих острых уст.

Налюбовавшись всласть её громоздкой статью,
но всласть не угостив, скольжу домой по льду.
Есть в доме телефон. Прибавив счастье к счастью,
я говорю: — Люблю! — тому, кого люблю.

Уже роялей всех развеялась дремота.
Весь побережный дом — прилежный музыкант.
Сплошного — не дано, а кратких счастья — много,
того, что — навсегда, не смею возалкать.

Так помышляла я на милом сердцу свете.
Согласно жили врозь настольный огонь и тьма.
Пока настороже живая мысль о смерти,
спешу благословить мгновенье бытия.

VII. ОТСТУПЛЕНИЕ О НОСИДЭ

В Элладе рождена, в Калабрии жила,
где цитрусовых кущ не ведают соцветья.
Что значит: флёрдоранж? Афин ворожея
изгнаннице Афин не смела дать совета:

свечу души задуть, светильник не возжечь,
не искушать жрецов, проклятий не накликать.
Не Носидэ ль свечой очнулась вдруг вот здесь,
где принято ссылатъ в смерть иль в смертельный климат?

Тысячелетий срок для Носидэ моей
не слишком ли велик? Теплыни и чужбины
на хладном берегу двоюродных морей
легко ль тоску сносить? — О, лучше бы убили! —

так Носидэ грустит и видит ход ладей,
как весть Эгейских вод, вдали белеет парус.
В папируса тайник, сокрытый от людей,
свирепых любопытств заглядывает праздность.

В убежище своём так тщательный моллюск
вотще спасает жизнь, столь нужную ему лишь.
Как жемчуга ловец, не я ль сейчас ломлюсь
в сокровища чужих и лакомых имуществ?

Долг Носидэ — иметь лишь песнопенье уст.
Мотив всегда один: — О, где моя Эллада!
Где тот, кто мной любим! Зачем мой чёлн так утл! —
Стенанье продолжать не смею, и не надо.

Мой простодушный грех свечою не прощён.
Склонив её к воде, я пристально гадала:
в честь Носидэ зачем меня ласкал почёт
в прельстительном краю, где Носидэ страдала.

Меж рознями времён мерцает связь родства:
и властелин гневлив, и пифии злорадны.
В Москве я родилась, в Москве произросла,
но бредит ум ночной, что изгнан из Эллады.

На родине моей я родину зову,
к её былому льну неуголимым взором.
Там сорок сороков приветствуют зарю,
народ благочестив, и храм ещё не взорван.

Как Носидэ во сне родную видит даль,
так я люблю гостить в открытке стародавней,
где нежиться дано моей до-жизни дням
в соседях с голубком над кружевной дамой:

уклончивой руки и влюбчивых усов
сусальная давно поблекла позолота.
Здесь неуместна весть Эгейских парусов,
и Носидэ моей свече не отзовется.

Что умыслом своим ваяет стеарин,
как Фидий повелел и возбранил Овидий?
Свеча, а не строка, иссякнув, сотворит
ей заданный урок, чей смысл не очевиден..

VIII—IX. ПРОЩАНИЕ С КАПЕЛЬНИЦЕЙ (Помышление о Кимрах)

Была звана в Милан или в Париж —
уже не помню. Краткий Баден-Баден
мне предстоял. — Эй, что ты говоришь? —
вскричал далёкий отрицатель басен.

Не взыщут пусть гордыни казино.
Обитель, что затеял Солдатёнков, —
с азартом измышлений заодно.
Мой выигрыш — трофей кровоподтёков.

Что делать, если вены таковы.
Стан капельницы — строен и забавен.
Вдали от суеты и толкотни
я пребываю. Чем не Баден-Баден?

Приют мой, впрочем, Боткинским зовут.
Его уклад навряд ли схож с курортом,
не знающим: как сладостно зевнуть
устам усталым в отдыхе коротком.

На воле жить — тяжеле и больней.
Вот — капельница надо мной склонилась.
Я возлежу и думаю о ней,
превозмогая леность и сонливость.

Она легко и ладно сложена.
(Издалека на ум приходит Эйфель.)
Отведав смерти, внове я жива,
хоть смущена запретной тайны эхом.

О капельнице речь. Её капель,
длясь, орошает слабые запястья.
Её прохладе свойственно кипеть.
Чу! чем-то чуждым организм запасся.

Так, прибыли заздравной не узнав,
я в строй сооружения вникала:

то мне оно казалось при усах,
то в белокурых локонах металла.

В Тарусе я дружила со столбом —
давно воспет и назван: «мой Пачёвский».
Теперь воззрилась слабоумным лбом
на механизм с усами иль причёской.

Болезнь — для вольных вымыслов предлог.
Я с капельницей накрепко сдружилась.
Приму её, когда она придёт,
за существо, за родственную живность.

Одушевив предписанный прибор,
забыв пиров объятия и козни,
пьёт плоть моя медлительный прибор
чего — не знаю, кажется — глюкозы.

Я прожила былые времена,
как обречённый гонщик мотоцикла.
Догнав меня, смиренную меня
прощает и лелеет медицина.

Любуясь апельсином, налитым
Италии теплом, затылок вспомнил:
чтоб ублажить целебную латынь,
плод, ей в угоду, не назвать ли: romum?

Помпезным словом плод за то хвалим,
что он питает зренья ненасытность.
Помнилось мне, что помыслам моим
откликнулся — и засмеялся цитрус.

Люблю мою со всем, что есть, игру
за тайный смысл, за кроткие приветы
намеренью вонзить в меня иглу —
пусть нехотя ей поддаются вены.

Бег бодрой лени шаловлив и быстр.
Пока источник капель серебрится,
как просто: всех и поровну любить,
в чём много выгод и немало риска...

...Но вот что странно: умыслом каким
все сёстры, все сиделки, санитарки,
как сговорившись, прибыли из Кимр.
Приятно, но загадочно, не так ли?

Старинный, досточтимый городок,
прилежный прихожанин и сапожник
привнёс сюда особый говорок
и с милосердьем белизны сомножил.

Восславить Кимры мне давно пора.
Что я! — иные люди город знали:
он посещаем со времён Петра
царями и великими князьями.

Ещё имевший звание села,
привык он к почитанию, к поклонам.
И вся Россия шла, плыла сюда,
и двигался из дальних стран паломник.

Две Тани, Надя, Лена — все из Кимр.
Вздор — помышлять о Крыме иль о Кипре.
Мы целый день о Кимрах говорим.
Столицей сердца воссияли Кимры.

Но ныне Кимры — Кимрам не чета.
Не благостны над Волгою закаты,
и кимрских жён послала нищета
в Москву, на ловлю нищенской зарплаты.

Безгрешный град был обречён грехам
нашествия, что разорит святыни.
Урод и хам взорвёт Покровский храм
и люто сгинет праведник в пустыне.

О капельнице речь. Я отвлеклась.
Знакомы с ней две Тани, Надя, Лена.
В подательницах пищи и лекарств
пригожесть Кимр спаслась и уцелела.

Я позабыть хотела, что больна,
но скорбь о Кимрах трудно в сердце прятать.

Кладбищенская церковь там была
и называлась: «Всех скорбящих радость».

В том месте танцплощадка и горпарк,
ларёк с гостинцем ядовитой смеси.
Топочущих на дедовских гробах
минуют ли проклятье и возмездье?

Начав за здравье, вдруг за упокой
строка строке перечит, в даль ведомо:
смешать в сусеке рифмы запасной
родедендрон с наитьем радедорма.

Незванный отошлю родедендрон
краям, изъятым из моих мечтаний.
На тумбочку положен радедорм
тайком меня перекрестившей Таней.

Больничная свобода велика:
как захочу — смеюсь или печалюсь.
Зачем я Кимры в бредни вовлекла?
Я с капельницей плачущей прощаюсь.

Сестёр усталых светятся посты.
Прощание созвучно полонезу.
Я напоследок говорю: — Прости! —
постели, табуретке, полотенцу,

подушке мыслей и дремотных нег,
пустой тарелке с ротиш'а огрызком.
В мотиве слов двусмысленности нет,
они не виноваты пред Огиньским.

В ночи мой почерк прихотлив, заядл.
Но всё-таки — какая одинокость:
«Скорбященским» кладбищем ум занять
и капельницы славить одноногость.

Привыкнув жить внутри, а не вовне,
страшусь изведать обитаний разность.
Я засыпаю. Сплю уже. Во сне
ко мне нисходит «Всех скорбящих радость»...

Х. БОЛЬНИЧНЫЕ ШУТКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Судьба моя, за то всегда
благодарю твой добрый гений,
что смеха детская звезда
живёт во мгле твоих трагедий...
Б. А.

Я дорожу моим уединеньем,
к бумаге чаще, чем к подушке, лгну,
услаждена визитом ежедневным,
который я так молодо люблю.

Мне вчуже посетители иные,
все — вестники застенной суеты.
Скучает овощ и цветы изныли,
хоть я прилежно пестую цветы.

Зачем дитя, корреспондент, малютка
с утра звонит: — Я нынче к вам приду, —
так рвётся гость в укрытие моллюска —
свежо и остро пахнет он во льду.

Виновна пред избранницей небесной
незваность шутки, стольких болей средь.
Но чужаку не след якшаться с бездной,
где в пристальных соседях — жизнь и смерть.

Дик, в нетях сущий, помысел о славе.
Я прихожусь лишь Кимрам знатоком,
и жизнь сестёр, что мне родимы стали,
бесслёзно я оплакала тайком.

Всем искренним упрёкам и наёмным
заране внемлю и не возражу.
Я, сострадая бедствиям народным,
в сторонней благодати возлежу.

Стыжусь, приемля милость, пищу, ласку,
пока невзгод события бурлят.

Но волоку ниспосланную лямку —
в незримость груза впрягшийся бурлак.

Пусть ноша бесполезна и ничтожна,
натружен ей радивый горб спины.
Кровать и жар светильника ночного
помещены среди большой страны.

Нужна ли Кимрам блажь ночных приветствий?
Негоже мне возмечь в чужую высь:
в палате, как в Карабихе прелестной,
вслед страдальцу: «Выйдь на Волгу», — взвыть.

Смысл — тише, чем объявленная мука,
мятежных дней двойкий беспросвет,
заманчив звук, недомоганье мутно —
того, чей адрес: Лиговский проспект.

Не затаясь в посмертии укромном,
в учебниках уныло уцелев,
он подлежит укорам, я — уколам,
покорный и смешливый пациент.

Что боязлива, непрочна и смертна
родная плоть, — осмыслен мной вердикт,
но прибыль, прихоть, или придурь смеха
взбредает в ум и почерку вредит.

Я возлюбила санитарку Таню.
К восьми часам успев прибыть из Кимр,
она всегда мне поверяет тайну:
всё — вдребезги в дому, всё — вкось и вкривь.

То — грохнулось приданое сервиза,
своею волей быть не пожелав.
Супруг Татьяны не посмел сердиться:
им повреждён фарфоровый жираф.

Красавец пришлый, свадебный подарок,
он в Кимрах шею упасти не смог.
Мне жаль его, но образ мужа ярок:
добр и пригож сапожник без сапог.

Сегодня — дети дедовскую чашу
раскокали о мыльный водоём.
Я говорю ей: — Таня, это к счастью!
Вздыхаем и смеёмся с ней вдвоём.

И впрямь — очнётся Волга соловьями,
в сад джинсы мини-юбку пригласят.
(Степанов-дед учён был Соловками,
но в Кимрах принял крайний час услад.)

Бумаги кроткой понимаю просьбу:
остановись! Остановлюсь вот-вот,
но как мне скрыть, что Таня кошку Фросю,
для форсу, Табуреткиной зовёт.

В раздолье вздора, с лампою совместно,
взгрустну по Волге, по снегам, по льду.
Все Кимры, и Степановых семейство,
и кошку именитую люблю.

Но тот, чьего так жадно жду визита,
хоть приголубит, всё же укорит:
с такою чужью мыслимо ль водиться?
Как быть! Проказлив пересмешник рифм.

Недельной смерти я сдала экзамен,
престиж велит искать утех простых.
Поэт, что второгодниками знаем
и скрытен столь, вдруг шуток не простит?

Дней, что — вовне, опаскою терзаюсь.
Прощай, мой Боткин, устали не знай.
Отряхиваюсь, как спасённый заяц.
Спасибо, сердобольный друг Мазай.

XI. ВОЗВРАЩЕНИЕ **(после больницы)**

Прощаюсь я с белеющей больницей.
Мне трудно тело отодрать и жаль
от вмятины постели, соблазвившей
меня почётным правом возлежать.

Ужель нырну, покинув прочный берег,
плохим пловцом в громокипенье волн?
Меня качает. Ум плывёт и бредит:
где цель моя? Мне объясняют: вот.

Я узнаю инкогнито проспекта:
оно опровергает Петербург
и допевает песенку, что спета,
пространность к Ленинграду протянув.

Неопытно поступью нетвёрдой
дом нагоню, чей номер: двадцать шесть.
Лифт опознаю и этаж четвёртый.
Осталось вспомнить: для чего я здесь?

Я озираю, после шторма улиц,
квартиры чужеродный континент.
К окну синицы сразу потянулись —
сердечкам их не дам окоченеть.

На стул вздымаюсь, опасаясь выси,
подсолнечный им насыпаю корм.
Предметы вчуже спрашивают: — Вы ли
когда-то населяли этот кров?

Пожалуй, я, и, кажется, недавно.
Как быстро стёрся мой прозрачный след
в столь близком прошлом, в будущем —
подавно остаться тенью помысел нелеп.

Не признана беспамятством халата,
надела не взаимный холодок.

То ль я ему казалась плоховата,
то ль он, в шкафу сиротствуя, продрог.

Все вещи существуют самовольно,
смирить их супротивность нелегко.
Не почитать ли книжку Сименона?
Нет, даже это слишком велико.

Окликнула журнальная красotka —
владычица, должно быть, многих снов.
Вникая слабоумьем в суть кроссворда,
узнала: вовсе я не знаю слов.

Уж смерклось к ночи. Я — ещё младенец,
что не освоил новость леденца.
Моей бумаги листья разлетелись.
Но как мне быть? Мне дела нет до сна.

Нет мне спасенья, нет мне воскрешенья,
греховно стынет немота души.
Но слышу осторожность возраженья:
покаялась — и дале не греши.

Утешусь властью ниспосланной годиной:
читать окна морозную финифть,
страшась пера опасною гордыней
страницу ранить или осквернить.

Перо — самоуправно, самовластно,
как страсть его к бумаге превозмочь?
Покуда мозг страдал и сомневался,
синела и ослабевала ночь.

ХИ. НОЧЬ ДО УТРА

Борису Мессереру

Мои владенья — ночь. Она сильней бывала
в Тарусе неземных и кропотливых зим.
Куоккалой моей пресыщена бумага,
в ней Сортавалы дух черёмуховый зрим.

Мне родина — Москва, мне горько удаленье
от дома, от родной чужбины пустыков.
Покинутость детей, и дружб разъединенье,
и одиночеств скит — вот родина стихов.

В уют они нейдут, ни исподволь, ни явно,
обычай — быть, как все, зло осмеяв обман —
всегда настороже и поджидают Яго
ревнивей и черней, чем простодушный Мавр.

Им стопор всех препон лишь рытвина иль кочка,
им надобен обрыв: над пропастью вздохнуть,
на терниях пути оставив кожи клочья.
Рассеян, нелюдим их путь, как Млечный путь.

В объятья ль кану я возлюбленного мужа
иль ёлку для детей затею наряжать,
взирает свысока презрительная стужа,
всевластная спасать и гибель предрешать.

Я — ночи вождь и раб, но вдруг уже иссохли
источники зрачков и разорился лоб?
Несчастный властелин, четвёртый час в исходе,
как скуден твой улов в сокровищнице слов.

В уме светает мысль, что пуст всенощный подвиг.
Вдруг дара закрома вотще на нет сошли?
Сподвижницей свечой труд жертвенный исполнен —
в свод вечности взлетит скончание свечи.

Заслышав зов, уйду, пред утром непосильным,
в угодия твои, четырёхтомный Даль.
Отчизны языка всеведущий спаситель,
прощенье ниспошли и утешенья дай...

ХІІІ. ЗАКРЫТИЕ ТЕТРАДИ

Объявлена открытием тетради
О т л у ч к а — лучше б утаить: чего.
Луны нایتя длились и терзали
чело, что слепо ей подчинено.

Признается последняя обмолвка:
как ни таись, герой сюжета — мозг.
Коль занят он лишь созерцаньем мозга,
он должен быть иль гений, или монстр.

Он — нечто третье, но ему не спится.
А тут ещё мне задали урок:
продолжить миф об участи Нарцисса.
Луна менялась. Приближался срок.

Я думала, что выручит повадка:
поскрипывать пером о сём, о том,
не помня, где Эллада, где палата,
плеча одев в халат или в хитон.

Снега равнины сирые покрыли,
Афин виденье — ярче и вольней.
Перед Луной равны больница, Кимры,
строй пропилей, огни панафиней.

Пан искушает тростником свирели,
и юноша не поднимает век:
так Афродиты нежности свирепы,
что нимфу Эхо грубо он отверг.

Не так ли мозг вникает в образ мозга?
Ему внушаю: мученик Нарцисс,
превысить одиночество возможно:
забудь себя и сам себе не снись.

Он мне не внемлет. Боле — никого здесь.
Не ведая — темно или светло,
в себя он смотрит, как в глухой колодезь,
пытает отражение свое.

Что знать он хочет — мне о том не скажет.
Лишь намекнёт: как мне скушны вы все! —
де, некогда мне объясняться с каждым.
Меж тем мы с ним — пусть в дальнем, но в родстве.

Среди больничных греческих урочищ,
измучив зреньем свой же водоём,
красавец видит вдруг, что он — уродец,
и вчуже сожалею я о нём.

Его юдоль ущербна и увечна:
латыни нет в зиянии прорех
и греков речь не изучил невежда,
хоть и похож на грецкий он орех.

Но почему моей ладонью алчной,
коль попросту и попусту я лгу,
утайку драгоценности невзрачной
поглаживаю в утомленном лбу?

Я завершу, поймав себя на слове,
мои ли измышленья иль ничьи.
Цветов прохладных и прощальных слёзы
как будто сами возросли в ночи.

Прискучило мне сочиненье это.
В окне синеет хрупкой вести рань.
В угоду безутешной нимфе Эхо
я затворяю долгую тетрадь.

XIV. НЕВОЛЬНЫЕ ПРЕГРЕШЕНИЯ В НОЧЬ НА 25 ДЕКАБРЯ

В честь Рождества затеплилась лампада
пред Девой с Младенцем на руках.
Я за столом пирую, это правда:
стол празднества — в моих черновиках.

Крещусь в испуге: мысль моя греховна,
в даль от ума неправедно ушла.
В ночи блистая, как светла Европа!
Как в эту ночь чужбина мне чужда!

Но не совсем, меж нами нет разлада.
Прости, Младенец, Девы на руках.
В сей час меня провела Эллада,
мы с ней — в сторонних, до-Твоих веках.

Кощунствовать страшусь и каюсь снова:
мне Пан явился (он же — римский Фавн).
Но всё это — до Рождества Христова.
Лампада, не внимай моим словам.

Тем более что до священнодействия
мой край томим отдельно судьбой.
Явленье осиянного Младенца
восславит он в день января седьмой.

Перо моё, грехи, пиши пропало,
пребудь ночного пиршества вождём.
Мы думаем про странный облик Пана,
что нимфою Дрипою рождён.

Отвергнут сын испуганной Дрипой:
отпрянула — наотмашь, наотрез.
Какое счастье, что отец дородный —
Гермес — ребёнка на Олимп отнес.

Узрев дитя, возликовали боги:
нечасто появляются на свет

дитяти, что прельстительно двурог и козлоноги — ожиданий сверх.

Достанет и для греков, и для римлян
улады дивной: любоваться им.
Он вырастет весёлым, пышногривым,
его возлюбят хороводы нимф.

Возглавившему свиту Диониса
дано — дразнить, швырять дары щедрот.
Дразнить — смешно, опасно — додразниться:
ни там, ни здесь не спит Амур-Эрот.

Пан уязвлён стрелою, несравнимой
с другим оружием. Пан и впрямь пропал:
он за прелестной нимфою Сириной
по легковесным гонится пятам.

Лишь ту! Ату! Плачевна жертвы участь:
страшна ей страсть грядущих казанов.
Спасите, боги, нимфы детский ужас:
её ловец — рогат и козлоног.

Несчастливая бежала и молилась,
не ведая, как дале закрутит.
Сбылась непререкаемая милость,
бегунью обратившая в тростник.

Не горше ль это, чем объятья Пана,
в которые — Олимп велик и прав! —
растеньем целомудренным упала
избранница? И — разрыдался Пан.

Как быть страдальцу? Лишь волшебным средством
уймёт он боль — о, только бы скорей!
Нож был при нём. Он нежный стебель срезал,
и просверлил, и сотворил свирель.

Он чужд земным красавицам и свахам:
при солнце утра и когда дождит,
пьёт с Дионисом (если в Риме — с Вакхом),
пасёт стада и в дудочку дудит.

И тот, и этот добрый долг исполнив,
как будто не печалюсь ни о чём,
Пан (он же Фавн) вкушает отдых в полдень,
посмевший тронуть — гневу обречён.

Он мной любим — рогастый, козлопятый.
Склонюсь перед невинным тростником.
Всю ночь на день декабрьский двадцать пятый
Пан в дудку дул и веял сквозняком.

Со снегопадом спелись невпопады,
стадами дум пестрела голова.
Я верую в прощение лампы:
власть благодатной ночи такова.

Всласть нагулявшись, засыпаю в полдень.
Все отдыхи иные — на костре.
Моих причуд судья суровый понял,
что проще дать мне пребывать во сне.

Мой миф послеполуденный согрели
то ль сами боги, то ли сонмы слуг.
Всю жизнь я жду веления свирели:
вдруг сжалится и мой окликнет слух...

XV. ЖАЛОБЫ ПИШУЩЕЙ РУЧКИ

— Не хочу я писать про Нарцисса и Пана, краткость сил расточая на вздор небылиц. Без меня — где была ты? — Да так, выступала. — Это лишнее! — Знаю. Прости и не злись.

Что касается мной учиняемых вздоров — ты права, их приспешница, — их обвинив. Наипервый читатель, который мне дорог, так же думает. Что говорить о иных!

Вчуже — жаль беззащитно отверстой страницы: кто её осмеёт и упрек повторит?

— Жаль меня! Про огни новогодней столицы сочини что-нибудь, это — твой панталык.

— Я бы рада, но крах изгоняемой елки помнишь ли? Я накликала горе строкой.

— Мне ль забыть, как зловещи писаний итоги, всё ты путаешь здравие и упокой.

— Кстати, вот что, подруга сидений понурых, я вспомнила вместо заздравных речей: гибель ёлки, и то, как один из Гонкуров описал распродажу в квартире Рашель.

Братом страшно покинут, он брёл по Парижу. Умерла, а была навсегда молода та, чьи вещи теперь предъявлял нуворишу выжидающе-скарредный стук молотка.

Сникли шлейфы усталые, перья поблёкли шляп её знаменитых и пышных боа — словно ёлки отверженной мёртвые блёстки на помойке, — давно ли прекрасна была?

— Вот опять, — продолжается ручки стенанье, — смысл уходит в окольную тёмную щель. Мой удел — поспешать и предстать письменами, но при чем здесь Гонкуры, при чем здесь Рашель?

— Я о них вспоминала во мгlistом Париже,
где нездешне сияли огни Рождества.
Но сейчас их значенье — роднее и ближе,
меж сиротствами всеми есть тайна родства.

Вот и вздумалось: образ обобранной ели
близок славе любой. Простаку невдомек:
что — непрочный наш блеск, если прелесть Рашели
осеняет печальный и бледный дымок?

Вновь увидеть, как ёлка нага, безоружна:
отнят шар у неё, в стужу выкинут жар —
не ужасно ль? — Не знаю, — отвечает ручка, —
не моё это дело. Но мне тебя жаль.

XVI. ПРЕДПРОВОДЫ ЁЛКИ

Уходит год стремглав, и вместе — жизнь уходит.
Что — лето! Лбом забыт припёк его жары.
И вот, среди двора заснеженных угодий,
декабрь, словно дитя, катится вниз с горы.

Снег достигает щёк утешно и целебно.
Боязнь души спешит снежинки дар ценить.
И ёлки Рождества мне грустно воцаренье:
всевечен, кто рождён, недолог блеск цариц.

Ель в дом заточена, как вольный зверь в питомник.
Меж тем её уже венчают на престол.
Ей, в общем, всё равно: Орлов или Потемкин,
томит соблазн — на дверь им указать перстом.

Опять одна займусь её огней дрожаньем.
Жаль — Дашкова горда, вдали, в опальной мгле.
Где сладостный певец, строптивый где Державин?
Не слишком ко двору? Но Тредьяковский где?

Ужели отслужу зловещему веленью
владычицу мою сопроводить во смерть?
Заброшены дела, как и письмо к Вольтеру.
Мне траура по ней не снести и не воспеть.

Есть Новый год второй, и есть другая ёлка —
пока наследный принц, чей нелюдим чертог.
Его звезда взойдёт, но лишь удушье шёлка
со зла ему сулит крещенский вечерок.

Придворный лебезит припляс кордебалета,
но замка тишина — опасна и пьяна.
Сообщник мятежа, готовлюсь раболепно
оплакать скорбный прах, когда придёт пора.

Румянит шоколад ребячьих щёк прыщавость.
Затейник Дед Мороз наряжен в зной прикрас.
Я с дровом-божеством, всерьёз скорбя, прощаюсь:
а вдруг на этот раз прощусь в последний раз?

Но ель ещё в цвету, свежи её гирлянды,
ещё резва игра гаданий и шарад.
Глаз — фонари её допросит: впрямь горят ли,
дознается: каков смысл, заданный шарам.

Грядущего вблизи, с предчувствием особым,
я думаю о Том, кто уязвимо горд.
Коль рождена в году его посмертья сотом,
двухсотый с чем придёт Его рожденья год?

Шум праздника страшит, и славословий клики
ревниво слышу я: всё кажется, что врут.
То ль поднесу цветок «Цветку», как прежде, или
я с точностью замкну дней совершенный круг?

Накликать не хочу незнаемого часа,
но вопрошающ взгляд, читающий луну.
Как шар, округл объем ниспосланного счастья:
я несомненно есмь, любима и люблю.

И тот, кто мной любим, еще не внёс с мороза
возлюбленную ель в пустынное жильё.
Как будто с нею мы не существуем розно,
заране трепещу о проводах её.

XVII. ПОСЛАНИЕ

Собрат любезный, пишете Вы плохо,
спалив свечой всенощные часы.
В посланье нет ни прока, ни упрека:
Вы пред свечой погибшею чисты.

Заманчива бессонницы повадка
безумствовать, пока свежа луна.
Но сказано: «должна быть глуповата»,
не сказано: должна быть не умна.

И ум излишен, вознесённый в заумь:
предавшись ей, заблудший ученик
не сможет зоркий обмануть экзамен,
судьба вздохнёт и «неуд.» причинит.

Пусть простоват и непонятлив «неуд.»,
несоразмерный с холодом спины
и с бледным лбом, что поощряем небом, —
свершенья неудачника смешны.

Ему смешон, быть может, кто удачлив,
преуспеянья скушные чужды.
Портфель с добычей он домой утащит,
везёт: в кино родители ушли.

Один он снова при луне, при гнёте
незримых сил, диктующих озноб.
О ужас! Вдруг — неразличимы: Гёте
и вдохновенный мученик азов.

Забудем, впрочем, школьного страдальца,
пусть второгодник встретит Новый год.
Его не зря домашние стыдятся,
вотще в ночи его прилежен горб.

Ответ не нужен. Но зачем Вам рифмы,
унылые зияния меж строф?
Другие разве Вам не говорили:
их современник прихотлив и строг.

Вам надобен насыщенный, настоящий
слов разнородных дерзновенный стык.
Пример: по науценью инсталяций
освободите, растолкайте стих.

Ваш — словно спит в качалке устаревшей.
Поверьте мне: Вам скоро надоест,
что, обогнув ухабы ударений,
во дни былые Вас влачит дормез.

Сама пекусь о сдвиге с места, срыве
с откоса, хоть удобна для похвал
ко мне привыкшей, поредевшей свиты.
Мне не дано — пускай удастся Вам.

Галеры раб — сам по себе проворен,
в морях ли мрачных, на пустой тропе ль,
слог должен быть беспечен и приволен.
Мысль, что умён, — читателя трофей.

Как сладко ладить с волей глуповатой!
Но вольничать нельзя давать строке.
И с Музой, и с Афиною Палладой —
погиб, кто вздумал быть накоротке.

Всегда со мной соседствует ехидно
не знаю — кто, но внемлю, не кляню.
Бубнит: — Побойся Зевса! Знай: эгида
изменчива. Твоё письмо — кому?

Оставь меня, докучный соглядатай.
Твоя обитель — не в моём ли лбу?
Дай насладиться белизной летящей,
ни ей, ни стеарину я не лгу.

Всё — блажь ночей, причуда их, загадка.
До слабого рассветного поздна
творится, при мерцании огарка, ·
печальное признание письма.

Со спорщиком я пререкаюсь неким:
ты думаешь, с утра шлафрок надев,

за кофею, рассеянный Онегин
мой станет адресат и конфидент?

Иль, сдуру впав в ученость и надменность,
впрямь пестую собрата по перу?
Свечу измучив попусту, надеюсь
другую жертву заманить в игру?

Нет, ни на чье внимание не зарюсь.
Уже прискучив несколько семье
и назиданий осмеяв нездравость,
пишú себе... Верней: пишу — себе.

ВОЗЛЕ ЁЛКИ

31 ДЕКАБРЯ: К ЁЛКЕ

Прииди, Божество! Не жди излишних
низкопоклонных непреклонных просьб.
Давно, твой верноподданный язычник,
недремлющий держу на страже пост.

На дверь кошусь: когда вторжение хвой
нагрянет в дом нашествием лесным?
Удел гортани, одинокой в хоре, —
не праздновать веселье вместе с ним.

Зачем отдал тебя родитель-ельник,
каков, прощальный, был его наказ?
Тебя в ловушку заманил Сочельник,
но ельник знал, что отпустил — на казнь.

Страх пред концом не возмужал с веками.
Зелёная недолговечна масть.
Напялят драгоценностей сверканье —
и поспешат снимать и отнимать.

Лелеет ель детей живая совесть,
чужбин бенгальских брызгает огонь.
К ней никнут — любоваться, славословить.
Она грустит — не скажет нам, о ком.

То ли привета отчей почвы ищет,
то ль помнит, как терзали топором.
Весть: не родить ей нежно-млечных шишек —
с Рождественским совпала тропарём.

Благоухает хвойный хмель! Покуда
дурманит нюх дремотный приворот,
заснуть бы, час проспять, когда побудка
свиданье с ней, вдруг навсегда, прервёт.

Ещё блистают серьги, кольца, брошки,
дарованные праведным грехам.

С наложницы разлюбленной, о Боже,
ужель сдерёт их нечестивец-хан?

У торжества достаточно резонов
поминками вина затмить вину.
Не я ль сама, как атаман-разбойник,
швырну её в кипящую волну?

Язычник, эй, страшись беды громоздкой!
Что толку утешать: забудь, покинь.
В ночь Рождества, — сказал отец Георгий, —
взмыл греков вопль: — Великий Пан погиб!

Оспорить ли свидетельство Плутарха?
Сиринги с Паном не разъят союз.
Сиренев мрак свирельного подарка,
туманен ум — на Врубеля сошлюсь.

Прииди, — говорю, хоть знаю: лучше
ей в нелюдимом обитать бору.
Нужны ли ей игрушки, безделушки
и обещанье, что не отберу?

Уж минет Новогодье, и Крещенье
водой остудит предсказаний воск.
Ночей моих прозрачные качели
достигнут марта — с деревом не врозь.

Сокрыт в сусек последним днём декабрьским,
вдруг до апреля устоит наш снег —
непрочных сил живучесть мы докажем.
Докажем ли? Всего скорее — нет.

Мглу сумерек и впрямь содеял Врубель.
Ещё не зная, облачат во что,
в красе невинных кружев или рубищ
в дверь обречённо Божество вошло...

НОЧЬ ВОЗЛЕ ЁЛКИ

Тетрадь затворена — прочь из неё скорей,
в ней замкнут год былой, ночей лампадных схи́ма.
Вглядеться в глубь её — как встретить свой скелет
в запретной полумгле рентгеновского снимка.

Забуть всё это! Год новёхонький почат.
В день января второй — вдруг снегом сыпануло.
Я, Ёлке посвящать привыкшая печаль,
впадаю... — как точней? — в блаженность слабоумья.

Пусть грешник слаб умом, зато не так он плох,
не вовсе отлучён прощением церковным.
Враспloh его застал фольги переполох,
и ватный дед-мороз им втайне поцелован.

Игрушек прежних лет рассеянный набор
ему преподнесли. Жалки его причуды:
как, бедный, ликовал! Он был смешон, но добр —
иных и высших благ желаю ли, прошу ли?

Он сам был поражён: как чист его восторг,
как свежая душа от детства не остыла.
Но вчуже понимал трепещущий висок:
почётно это снести, признаться в этом стыдно.

И тот, кто мной любим, украдкою грустит,
чураясь чуждой всем неопытности новшеств.
Стих сам себя творит, он отвергает стыд,
он — абсолют от всех отдельных одиночеств.

Он наиболее прав, когда с ним сладу нет,
когда заглоти́т явь и с небылью сомножит, —
невзрачный нелюдим и вождь подводных недр,
где щупальцев его ухватка осьминожит.

Вот и сейчас — чего добытчик и ловец,
он осязает тьму и смутный глаз таращит?

Лишь в том его улов, что мне, как неба весть,
игрушек детский сброд явил картонный ящик.

Всё выгодно ему. Что говорить про Ель?
О ней всех мышц его задумались пружины.
Он копит свой прыжок, узрев во всём, что есть,
свою причину — быть, без видимой причины.

Все ухищренья, все увёртки — на кону.
Стих — хищный взор вперил в глушь хвои,
блёстки, блики.

Он упоён собой, не нужный никому —
не только Лужникам, но и насущной близи.

Живёт один, вовне, со мною не вдвоём.
В соседях — кутерьма и стрельбы вин шипучих.
Здесь — вымыслов театр сам для себя даёт
свой призрачный балет, по-моему: «Щелкунчик».

Всех кукольных особ — во времени цела,
облекшая их страх, страсть к выпрененным нарядам.
Короны убоясь Мышиного царя,
тайком копуюсь на щель, скребущуюся рядом.

Прозрачною рукой сторожко ранен альт,
незримость чутких лож пронизана слезами,
и мягко-островерх прелестный задник Альп.
Ужель Бежар на бал явился из Лозанны?

Вот у кого один погонщик — парадокс.
(Что я Бежару, но лицо прочёл он.)
Трико, лохмотья, угол, перекося,
но разум тела педантично чётко.

Скажу, дабы бахвальства избежать,
с печальным, но патриотичным смехом:
коль тайнопись лица прочёл Бежар,
то — как турист пейзаж читает, мельком.

Вмешался он! Где ритм, где панталык
обобранные двух слогов потерей?

Мне их не жаль для рифм и пантомим,
и впредь не стану вздыхать про третий.

Предслышу неминуемый укор:
— Что вы ещё изъяли из картона?
Но впрямь я вижу снег Альпийских гор,
внизу — царит округлая корова.

Вдали — отрада озера блестит.
Но вы-то кто и для чего пристали?
Мне к Рождеству, чтобы поздравить с ним,
открытку из Швейцарии прислали.

Подсудны — пестроумье головы,
слов столкновенья, образов обрывки.
Но скушно жить всё время там, где вы.
В даль — не хочу, хочу гостить в открытке.

Взаправду есть игрушки, Ёлка, мышь.
Щелкунчик вскоре будет, кстати — вот он.
Одна шалит и хороводит мысль,
сообщниками населяя воздух.

Всю ночь танцую, тешится спектакль,
пока лампада попирает распри.
Его поставил автор иль списал
с природы — вам не безразлично разве?

Пир празднества течёт по всем усам.
Год обещает завершить столетье.
Строк зритель главный — загодя устал.
Как быть? Я упраздняю представленья.

Но и в кулисах — жарко и светло.
Благословляю дни мои, в которых
дано так много, и поверх всего —
Ель и дары сокровищниц картонных...

ОН И Я

Пишу себе — и горя мало,
одно лишь: прочь уходит ель.
Печальный образ «графомана»
мне всё роднее и милей.

Герой насмешек и гонений,
и просто — доблестный герой,
священно, точно так, как гений,
он бодрствует ночной порой.

Владеют им восторг и ужас,
он обожжён звездой небес,
подвижник он, чью злую участь
не искусил тщеславья бес.

Он — лишь добычи слов искатель,
но при условии одном:
им не терзаемы издатель
иль чей-то знаменитый дом.

Не грезит он о доле лучшей —
натружен горб опекой лун.
Но это — идеальный случай:
он чист, как роцца или луг.

Я видывала эту бледность:
двуогненную темь во лбу,
свирепой проголоди бедность
и рыцарскую худобу.

Прозрачный, словно струйка дыма,
присущая его устам,
он — схимник, неисповедимо
брезгливый к суетам услад.

Как бы античная колонна,
он гордо-прямо и одинок.

Я бы ему низкопоклонно
служила славословьем строк,

но выдоха сбылась обмолвка:
я признаюсь душе своей,
что стала я писать так много,
так много извела свечей...

Лампадкой кроткой и святою
прощаем грех и несудим,
но сострадательной свечою
раздумий поглощаем дым.

Нет передышки на привале,
стул изнемог, как старый конь.
Остановиться не пора ли,
желанный не осилив склон?

Тому, о ком я помышляю,
в каком бы он ни жил селе
иль городке, — я помешаю
навряд ли вестью о себе.

Хвала его ночам суровым!
Да будет новогодний снег
вседобр к его глухим сугробам
и посулит успех утех.

Разомкнуты — моё сиротство
и хвойных празднеств толчея.
Я б с ним моё воспела сходство,
да он — безгрешнее, чем я.

Я И НОЧЬ И ГАЛАКТИОН

Памяти Гии Маргвелашвили

К опасному готовясь повороту,
прообразив незнаемую новь,
я втайне обрекала переводу
стихи Галактиона «Я и ночь».

Два языка спеклись в моей гортани,
мне свыше данный — делал вид, что слаб.
Как Яузе притоком мутной Мтквари,
мне — с музыкой накоротке не стать.

Надеялась, что издалёка, сбоку,
украдкой до тайника дойду.
О Гмерто! — тщетно я взывала к Богу.
О Цвима! — обращалась я к дождю.

Тягались силы вымысла и яви,
силёнки слова иссякали в них.
Сквозили вместе кари и ниави,
дул ветерок и воздымался вихрь.

Стихи мерцали — кротко, затаённо.
Окликнут звук — но звуком не задет.
— Оставь! Не тронь! — витал Галактиона
усмешливый, влиятельный запрет.

Казалось бы, всё так прозрачно-просто:
поэт, свеча, души отверстый плач,
луна, сирень... Навязчиво и плоско
что, тычась в темь, талдычишь ты, толмач?

Собрания луны, свечи, сирени —
достаточно, чтоб не был стих уныл.
Сусеки одиночества — свирепы.
Но как мне быть? — А ты спроси у них.

Всё непостижней горла бормотанье.
Луна печёт всё хладней, всё больней.

Смысл — здесь ли, там ли — в им сокрытой тайне,
но он семь раз упомянул о ней.

Тайнодержавной власти тайнодержец,
тайнственно, утайкою, тайком
он предавался тайнописи — дескать,
не дело всех; о чём она, о ком.

Не я ль вломлюсь в ларец его заветный,
сиреневых не пожалею кущ,
к сокровищнице, хрупкой и запретной
рукой развязной подбирая ключ?

Повторные значенья — заунывны,
куртинам — вновь не лиловеть в цвету,
и подлинник его луны доньше
свою оберегает чистоту.

В луну, в сирень окно я открывала,
отпив вина, что проклял он в ту ночь.
— Вот ключ, возьми! — смеялся зазывала
и ухмылялся, убегая прочь.

Как если б тишина часов песочных
исторгла вдруг громоздкий гром времён,
безмолвствующий, восклицал подстрочник,
что чужаку свой жемчуг не вернёт.

Я видела: друг ночи — горько молод,
неутомимо, безутешно горд.
Ровесник умолчаний и обмолвок —
тринадцатый, ещё беспечный, год.

Спустя два года назовёт он имя,
я повторю, пусть поздно, но светло.
Всё сущее — поэту не взаимно,
лишь то, что — прежде сущего всего.

«Поэзия — прежде всего», — сказал он.
Так было с ним. Так я перевела.
Строка моим вторжением внезапным
не ранена и не повреждена.

Нет обольщений, сердцу изменивших,
нет смерти убиенных, нет могил.
Конечно, прежде. Но зачем «Могильщик»
о том, что — после, помышлять манит?

Над Мцхетою — девятигласно пенье.
А как же пир, что грянет наяву,
и в оперенье подвенечном пери?
Я знаю имя, но не назову.

В другой ночи — проспектом Руставели
бредёт знакомец нищих и бродяг.
Созвучья, мне не данные доселе,
ночные души тешат и бодрят.

Он стал угрюм. Горька вина услада.
Ночь, он и тень фонарного столба.
«Прежде всего!» — но жизнь его устала
свои же знать и подтверждать слова.

Вот вспомнила: в застольном ликованье,
при круге цирка, видимом за окном,
печально мне поведал Чиковани,
как встретился ему Галактион.

Уж быть — невмочь, дразнить — ещё по силам.
Сиротской усмехнувшись бородой,
— Кто ты такой? — заносчиво спросил он. —
Ах, Чиковани! Знаю: ты — портной.

Как это кстати! Я искал портного.
Забыл, что всех не залатать прорех.
(Не возрыдать же: надобна подмога,
не преклоненья — жалости привет.)

Стоял Симон, впрямь горемыка с виду.
И сострадать — возбранно, как мешать.
А далее — впрямую на Мтацминду
таинственный и благородный шаг.

Плач всенародный, пересудов лишних
бесмыслица судачит, но про что?

Живучий, знает истину могильщик:
всё станет прахом, ежели прошло.

Тогда зачем, плутая по Тбилиси,
бессонниц утруждая силомер,
я в закоулках видеда из близи
вспять сквозняка летящий силуэт?

Что мне легенды, что чужие басни!
Геенной благодатной опалён,
меня бесплотный уверял хабази,
что только что здесь был Галактион.

Правдивое свидетельство не ново.
Скиталец, не имеющий угла,
меня небрежно примет за портного —
я спохвачусь: где нитка, где игла?

Но не скажу, как долго длилось это:
две музыки не совпадут точь-в-точь.
Родная речь слабей, чем «дэда эна»,
в ночи стихи лелея «Я и ночь».

Впустую перемука перевода
растратой занята свечей и лун.
Вмешательства грешна пере-свобода,
потутился пред ней смиренный ум.

До сумерек рассвета и до солнца,
качнувшись на откосе бытия,
мы таинству молчанья предаёмся
втроём: Галактион и ночь — и я...

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

Геннадию Комарову

Как ни живи — вестей, с небес сошедших,
день важно полон, занятый собой.
В краю, чужом иным краям, — Сочельник
благовестил Елоховский собор.

Как будто мира прочего не зная,
ждёт Каляды отдельный календарь.
Целует слух Елохова названье.
Кутью готовит постник-кулинар.

Капризницу он потчует шарлоткой,
глад праведника — лакомством воды.
Но все равны пред тайною широкой
в ожоге ожидаемой звезды.

Мы — попрошайки, с нас и взятки гладки,
да будут святки воздаяньем нам:
колядовать — изнанкой вверх, загадки
загадывать грядущим временам.

В честь торжества и слякоть нам во сладость,
хоть предвещает строгую весну.
Младенца осиянного восславить —
трикирий возожгу, перо возьму.

Но меня гололёд
с прямопутку совлёк.
Таково проросла —
посейчас молода.
Наперёд Рождества
к нам пришла Коляда.
Сладких святок благодать —
целовать и баловать.
Ты меня не виновать,
одари, овиноградь.
То ль в морозе, то ли в зное
сколько снегу намело,
виноградье наливное,
красно-зелено моё.

Как мной любимо это виноградье!
Ему соплещет море-окиян.
То ль мнится, то ль, в покое и в отраде,
мне ангел тайну ночи открывал.

Пустынников всегда говеет голод.
Какой гуляка их смущён постом?
Чур, чур меня! Дозволил чёрту Гоголь
попрыгивать и памовать хвостом.

Лампаде разум угодить старался —
смятенье дум его не обошло.
Виденье обречённого страдальца
явилось, привмешалось, обожгло.

Никто, как Гоголь, не томит, не мучит.
Разгадка там, не знаю: где — потом.
Сокровище младенческих имуществ —
с родимой «ятью» долгожитель-том.

Среди детей, терпеть беду умевших,
когда войны простёрлись времена,
в повалке и бреду бомбоубежищ
бубнила «Вия» бабушка моя.

Вий, вой, война. Но таинство — моё лишь.
Я чтила муку не подъятых век
и маленький жалела самолётник,
пылающий, свой покидавший верх.

В без-ёлочной тоске эвакуаций
изгнанник сирый детства своего
просил о прежнем, «Вия» возалкавший
и отвергавший «Ночь под Рождество».

Та, у которой мы гноили угол,
старуха, пребывая молодой,
всю ночь молилась. Я ловила ухом
её молитв скорбящую юдоль.

Под пристальным проклятьем атеизма
ребёнка лишний прорастал побег.

Он в собственных наитьях затаился,
питающих невежества пробел.

Доверясь лишь возлюбленному древу,
чтобы никто не видел, не ругал,
карандашом нарисовал он Деву
с Младенцем небывалым на руках.

Так жил он с тайной, скрытою подушкой;
уж время — заточают в комсомол,
чей предводитель, смолоду потухший,
как Пан, был пьяноват и козлоног.

Но глаз прельщала невидаль кретина,
который в детстве Буниным любим.
Я шла домой. Меня ждала картинка —
тайник под изголовием моим.

Средь хвойных грёз, вполне ино-кромешных,
ель возглавлял, как ей закон велел,
взамен звезды — кощунства наконечник,
чтоб род людской забыл про Вифлеем.

Как выжить обречённому дитяти,
спасительный как совершить рывок,
когда ознобно дед-морозны дяди,
влекущие в загробье хоровод?

Лишь так, пожалуй: заглушает гогот
хранитель сердца, ветхий книжный шкаф.
Коль с Пушкиным — в родных соседях Гоголь,
всё минет, обойдётся как-никак.

Но боль свежа, жалея страстотерпца:
безумья итальянского не снести,
в камине дотлевают угли текста,
как родина — его туманна смерть.

Уж как бы вдосталь — надобно излишних,
чрезмерных мук, таких никто не знал.
Зачем Белинский, честно взбеленившись,
его посланьем пагубы терзал?

И честность прочих — вздоры слов никчемных,
возмыли — и забыл их небосвод.
Всех подсознаний, стынувших в ночевьях, —
заглавный он, неоспоримый вождь.

Все без него — лишь сироты приюта,
где кормит яд живот и ум детей.
Но свянут флаги, гимны отпоются
насильных измышлений и страстей.

Разгула ночь. Но темнота откуда? —
ель пошатнут, посуду перебьют.
Чёрт месяц взял! Зато кузнец Вакула
летит по черевички в Петербург.

День празднества, ожги морозом-солнцем.
Где сотворивший лютый мой букварь?
Как чист опалы снег, куда он сослан:
в утайку сквера, но на свой бульвар.

Елоховского храма позолота,
к печали Нила Сорского, — пышна.
Тот, помысел о ком, — мне отзовётся.
Гляжу — а ночь под Рождество прошла.

Святкам рад снегопад —
синеват, сыроват.
Чёрт крутил и вертел —
наперед Рождества
нам звезду и вертеп
Коляда принесла.
Ты в мой сад-вертоград
приходи, вертопрах.
Выпросить — не воровать,
сыпь в ладони, виноградь.
Ты ко мне — колядовать,
я к тебе — околдовать.
Я другой не знаю доли,
всё мне мило, всё мало,
виноградье молодое,
красно-зелено моё.

СВЯТОЧНЫЕ КОЛЯДКИ

I

Вот вернулась, а была такой нарядною,
выступала: любо-дорого смотреть,
поводила головою своенравною,
не повадилась я заживо стареть.

Это что ещё за присказки, за выдумки?
Простудил твой башмачок глубок сугроб.
Ты — не красна девица на выданье,
на тебя взирающий супруг суров.

Грустно сердцу по-над ёлочными свалками
Божьих ангелов провидеть благодать.
Моя ёлочка милуется со святками,
Коляда зовёт народ колядовать.

Небеса моё приемлют покаяние.
Сколько снегу новогодье намело!
Я вспомню и восславлю окиян-море,
виноградье красно-зелено моё.

В честь колядок, как от пагубного зельца,
захмелел дружок-стишок, да не солгал.
Не пришелица я и не чужезмица
во родимых, моих собственных, снегах.

Много снегу, мало свету, с неба павшего:
чёрт играет, нет ни звёздочек, ни лун.
Говорила Маня из деревни Паршино:
упасёт от плача неплачевный лук.

Также сказывала, что не любят АНДЕЛЫ
ни вертепа, ни звезды, ни коляды.
Коль нечистого следы в подворье найдены,
под крылечками кладутся колуны.

Перед АНДЕЛАМИ стыдно, воспарившими,
мне крыльцо таким гостинцем оснащать.
Мама, АНДЕЛ мой, не станет топорщиками
гостевой порог прохожего стращать.

Но не видно ни наряженных, ни ряженных.
Со свечой, с пером, с лампадкой — вчетвером
опасаемся затмения ёлок радужных.
Что-то предречёт крещенский вечерок?

Всё томят меня предзнания, предчувствия.
Ум замерз, как водотеча-акведук.
Может, АНДЕЛЫ, чьи милости причудливы,
мне назначенные беды отведут...

II

Отсияли два новогодия,
стали досталью причин для кручин.
Март уж копит день многоводия
Алексея, что разбил свой кувшин.

Алѣксѣя звать с «ятю» надо бы,
по старинке Новый год повстречав.
То ль колдобины, то ли надолбы
нагадал мне воск, да при трёх свечах.

Ляксе́й—с гор—вода, водяными ли
застращаешь ты меня, свят-свят-свят?
Мне сказали бы во Владимире:
хватит врать и алёшки распускать.

Вот весна придёт всемогущая
под Рождественской мне не жить звездой.
Бледнощекая, знай, Снегурочка:
станешь ростопель, истечёшь водой.

Не к добру взойдёт заря алая,
будет вечен твой неживой досуг.
То ль дитя поёт, то ли ария
позабытая мой тревожит слух.

Дни весны чужой, будет ва́ша власть
о вас зеркальце в сердцах разобью.
«Туча со́ грóмом сговаривалась:
ты греми, гром, а я дождь разолью».

Возомнилось мне, слышу якобы:
претерпи, живи, и, куда б ни шло,
«выйдут девицы в лес по ягоды...» —
пусть идут себе, ну а мне-то что?

Не полита ель водолями,
постарел пострел, чей тулуп истлел.
Лель возлюбленный, возлеянный,
слёзы лей, мой Лель, лель-лель-лели-лель.

Так припевками, прибаутками
Коляде служить, ворожить не лень.
Знать, к беде идти прямопутками,
ель и хмель прошли, вот и лёли-лель.

Еще зелено Божье дерево,
возлегла печаль на моё чело.
Вдруг про Веничку Ерофеева
я подумала, не пойму — с чего.

Поминать вином его надо ли,
пока празднества правит пир людьми?
Нешто может быть, наши ангелы,
что взаправду вы свысока люты?

Тяжела, темна моя ноченька.
Сжальтесь, ангелы, всех потерь поверх.
Непрогляд и хлад одиночества
утаю от всех, лишь свече повем.

III

Я звезду-Коляду зазову, приманю,
Молода-Коляда, не ходи никуда.
Для моих для потех всех-превсех помяну:
уж полхлеба проела Аксинья-кума.

Коль так дале пойдёт, то Антип-половод
ждёт-пождёт, чтобы допреж Алексей побывал,
его Тёплым зовут, он — к весне поворот,
а Емелю не чтут, говорят, что — болван.

Есть Алёшка-бахвал, да Иван-простачок,
да разумник Наум, да Кузьма-первоплут.
Мне — судьбы и любви подошёл пересчёт,
водит, сводит с пути парапет-перепут.

Новогодний сей день есть Василиев день,
что ж, Василий, мой друг, и тебе недосуг
прихорашивать ель хвойно-хворых недель,
ходит ели вокруг хороводик дожук.

Коль примета верна новогоднего дня,
плохо дело моё, будет год этот лих.
При лампаде печально глядит на меня
вопрошающий и Всепрощающий лик.

Строит святок алюсник проказы гримас.
Выбрал ряженный скромный убор стукача.
Затевала колядки, а вышел романс:
утемнилась душа, догорела свеча.

ОКОЁМ И ЛУНА

Как изгнанная елка — одинока,
претерпеваю вьюги нагоняй.
Сколь прозвище красиво ОКОЁМА,
а он — всего лишь плут и негодай.

Не странно ли? Околиц и окраин,
округи и окрестности покой
в названье есть, как будто окликаем
их около деревни над Окой.

Ему родней — околыш, околоток.
Вспомню, окаяню вопреки,
окно во снег и журавель-колодец
в Ладыжине, в деревне близ Оки.

Бывало, по заснеженной пустыне
брела туда тулупчика жара.
Когда-то там Цветаевы гостили,
и барыня «Маркиза» там жила.

Моей исповедальной зимою
стремглав одолевала я овраг
Ладыжинский, давно воспетый мною —
подобострастно, а не кое-как.

Светлы мои счастливые денёчки.
Не помню: глуповата иль умна,
я сиживала за столом до ночи
и при луне — до позднего утра.

Мне доставало скромного веселья:
не ждать гостей, не ведать новостей,
хоть надо мной проклятие висело
угрюмых и бессмысленных властей.

Что мне до них! От октября до мая
в Ладыжино мой силуэт сновал.
Картину: «А жива ли тётя Маня?» —
художник про меня нарисовал.

Уж много лет пуста её избушка.
Вокруг — домов оказистая жуть.
Я буквами призналась иль изустно,
кем тётке Мане близко прихожусь.

Она, в девчонках, зналась с той «Маркизой» —
её отец конюшной заправлял.
Дразнили тётю Маню «юмористкой»:
её словцо — не вкось, а наповал.

Не водится коней у коновязи.
Жила одна и сиро померла.
Старухи упомянутые власти
коснулись тяжелее, чем меня.

Про что и говорила мне с доверьем,
а при чужих — рот на замок, молчок.
Всё радовалась маленьким дареньям,
как долготрудной жизни новичок.

Не родствен «ОКОЁМУ» «ОКАЁМОК».
Обводом темноты окаймлена,
брожу по перелеску хвойных комнат.
Ужель меня не узнаёт Луна?

Она — мой вождь и вещей понукатель,
глаз созерцатель, помыслов знаток.
Быть может, только доблестный лунатик,
как я, в её припёке изнемог.

Я все её поступки и повадки
выслеживала, словно детектив,
то слабый месяц выловив по капле,
то полный круг в объятья захватив.

При ней я не бывала говорлива,
вставала в девять, если в шесть легла.
Бессчётных измышлений героиня —
с луной вовек несхожая Луна.

Темно и пусто в бездне законной.
Отдай луну, небесный эконом!

Знать, чёрт её присвоил окаёмный.
Чур, чур меня, незванный ОКОЁМ.



Привёз паломник Иерусалима
мне освящённых тридцать три свечи.
За ночью ночь они февраль сочли,
я расточила стройность стеарина.

Казалось мне, что вымыслы свои,
а не мои, свеча в ночи творила,
так двадцать пять огней на-нет сошли:
три полночи свеча не озарила,
и у меня осталось шесть свечей —
для вдумчивых доутренних ночей.

Расчёт мой прост: я стала бережлива,
да и лампадка предо мной горит.
Но мысль о марте разум бередила —
свечу зажгла я для приманки рифм.

Отверстая, добычи ждёт ловушка.
Свеча жила, как подобает, час.
Мой лоб пустынен и ленив. Неужто
слова о том, что знают, умолчат?

Я понукаю пульсы кофеином.
Вотще хлопочут бурные виски —
им не угодно вздором говорливым
оплакивать заупокой свечи.

Я думаю: моей строкой недавней
был не к добру помянут «окоём»,
и спать иду с неразглашённой тайной,
задум лампадки чистый огонёк.



Я ровно в полночь возжигаю свечи
и долго жду. Уж первый час истёк.

Смеётся та, с кем ожидаю встречи:
— Я не желаю прянуть в твой силок.

Есть дом напротив. В нём не спится лампе
и чей-то профиль на луну глядит.
Заботиться о молодом таланте
прочь от меня насмешница летит.

Прощай, моя сообщница ночная.
Играй с другим задумчивым столом.
Кофейник пуст. Я наливаю чая.
Чай хладен ко всему, что — не Цейлон.

Окна напротив скаредный соперник,
я думаю, что влюблено оно
и видит сад: террасы на ступенях
зонт кружевной был позабыт давно.

Та, что под ним гуляла по аллее,
ушла к гостям — лукавить и сиять.
Всех остальных учтивей и смелее,
ей гиацинт поднёс негоциант.

Накрыли стол под липами. Со звоном
бокалы славят праздник именин.
Той, опалённой неотрывным взглядом,
угодно подношенью изменить.

Она фиалки к поясу приколет.
Рыжей заката чёлка надо лбом.
Так, час за часом, ночь моя проходит.
Поэт в окне совсем не в ту влюблён.

Докукой крепостного ритуала
я тягочусь. И, что ни говори,
нет никого прекрасней Ренуара,
нет никого прелестней Самари.

Ей-ей, сбегу от барыни-привычки
и от оброка: белый лист марать.
Не лучше ль быть художником в Париже,
сидеть в кафе, вздыматься на Монмартр.

Меж тем, вернулась та, что улетала.
Брезгливым «фу!» подула на свечу.
Пролепетала: «мне известна тайна:
он — гений. В полночь снова полечу».

Любим двукратно сочинитель юный:
моею Музой и своей весной.
За мартовской присматриваю вьюгой.
А час какой? Ужель — в конце восьмой?

Сквозь снегопада бледную чащобу,
в засиневевшем заданном часу,
родители ведут дитятей в школу.
Я издали их шествие пасу.

Мать опоздать боится на работу,
она торопит сына и ворчит.
Но так идти не хочется ребёнку,
что еле-еле ноги он влачит.

Но вот — отдельно, мрачно, величаво
ступает мальчик, избранно один.
Сопровождать возлюбленное чадо
не смеет боязливый поводырь.

Портфеля груз его склоняет вправо.
Мал и суров детёныш-великан.
Усиьем мышц он держит спину прямо.
Его робеют в игры вовлекать.

Мой взгляд остроконечен и не ясен,
но выбор сделан. Так с пустых небес
свой перпендикуляр свершает ястреб,
внизу завидев обречённый блеск.

Зрачка прицелом, устремлённым сверху,
отъят, присвоен иль подарен мне,
он боле не подвластен педсовету
и лишь условно возвращён семье.

Простительна ль грабительская доблесть
того, кто хищно обирает мир,

тайник вскрывает, изымает образ,
вполне владея только тем, что мнит?

В моих глазах, всё утемняясь, зрела
такая сила властной доброты,
что не сумела знать растрата зренья,
как школьники до дома добрели.

Помечен вспышкой, упасён опекой,
кефир отвергший и ушедший спать,
да будет счастлив мальчик, мной воспетый.
Мне лишь на миг с ним довелось совпасть.

Опять я в полночь свечи возжигаю.
Опять напротив бодрствует окно.
Сегодня я луны не ожидаю:
её тяжёлой мглой заволокло.

Коль навестит меня моя летунья
для милости небрежной и скупой,
я ей скажу, что без причин ликуя,
весь день я провела в кафе «Куполь».

14—15 марта 1999

ПРЕГРЕШЕНИЯ ВОЛЬНЫЯ И НЕВОЛЬНЫЯ

Уж сколько раз воспет мной час четвёртый
после полуночи, но почему
потылицы проворною увёрткой
от сна — пером я белый лист черню?

Я — скарета словарных одиночеств.
Затылку не прикажешь: оглянись, —
и сам он зряч. Лоб — изыскатель новшеств,
в потылице — хранится архаизм.

Я справочника не внемлю еоблазнам:
от простодушной старины устав,
всё, что в родстве с добром или со благом,
он устранил отставкою: «устар».

Душа спешит озябшею бегуньей
отринуть вздоры, вырваться из них,
в юродивой догадке слабоумной:
какой чужбины ей дерзит язык?

Гнушаясь долгой святочной неделей,
родную речь поправил и поборол
лихой злоуст, кичащийся надменной
и чужеродной кличкой «патриот».

Я не чураюсь вольнодумных правил —
слов иноземных в гости звать пассаж:
чужак родимый, нелюдимый «паркер»
решает сам, о чём ему писать.

Все моет мама Маню мылом... эра —
неряха возрастила и меня.
Как мне грузин собратна «Дэда-эна»:
«на наргизи» и — «на иа».

Это — нарцисс, это — фиалка: вот как
нюх детских зрений учится читать.

Уж пятый час вершит усердный отдых,
резвится, не желает почивать.

Ель осыпает ржавые иголки —
в чужом углу, не в отчих во снегах.
Передо мной две маленьких иконки
Казанской Божьей Матери стоят.

Чужда я притязаний и повадок —
коснуться высших таинств напрямик.
Два образка — на Рождество подарок,
вот я и пригорюнилась при них.

Свеча горит, и теплится лампада.
Смысл созерцанья от меня же скрыт.
Ночь-сочинитель не сама ль слагала
невнятный стих: то тихий вскрип, то скрип.

Захожий — не прилежный прихожанин,
твержу слова Рождественских молитв,
с языческим склоняясь обожаньем
пред ёлкой, пред идолом моим.

Дьячка потылком смладу не учёной,
и любо мне, и боязно смотреть,
как светлолик Младенец, обречённый
воскреснуть — да, но прежде — умереть.

Помилуй, Невестная Невесто,
мя, отврати измыслия кощунств,
избави от хвалы и от навета —
искательно, просительно крещусь.

Стихи — вознагражденье или плата
за все грехи? Суровая кипа
меня чуждалась: пред Стеною Плача
молилась я легко, как никогда.

Записку посылая в небывалость
больших небес, о чём пеклась, о ком?
Да все о Той, чьей речью упиваюсь,
чей обо мне вздохнёт заупокой.

Начав во здравье ночи последенной,
опять стемнился помыслов недуг.
Храм многолюдный, дуб уединенный —
тревожат, мучат, из ума нейдут.

Початого остерегаюсь года,
не грежу о дальнейших о летах.
Тишь: слышима опавшая иголлка.
Труд помертвевшей ели — облетать.

Перечитала неблагополучье
бессвязных строчек — сразу обо всём.
Дитя-Зиждитель, Человеколюбче,
пошли мне мирен, безмятежен сон.

Пора свести потылицу с подушкой,
чья вмятина живет с подушкой врозь.
Как загадала — при свече потухшей
и впрямь поставить точку довелось.

18—19 января 1999

НА МОТИВ ИКОСА

Украшения отрясает ель.
Божье дерево отдохнёт от дел.
День Крещения отошёл во темь,
января настал двадесятый день.

Покаянная, так душа слаба,
будто хмурый кто смотрит искоса.
Для чего свои сочинять слова —
без меня светла слава икоса.

Сглазу ли, порчи ли помыслом сим
возбранён призор в новогодье лун.
Ангелов Творче и Господи сил,
отверзи ми недоуменный ум.

Неумение просвети ума,
поэзяб в ночи занемогший мозг.
Сыне Божий, Спасе, помилуй мя,
не забуди мене, Предивный мой.

Стану тихо жить, затвержу псалтирь.
Помяну Минеи дней имена.
К Тебе аз возвах — мене Ты простил
в обстояниях, Надеждо моя.

Отмолю, отпláчу грехи свои.
Живодавче мой, не в небесный край —
восхожу в ночи при огне свечи
во пречудный Твой, в мой словесный рай.

В ночь на 20 января 1999

«ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ»

Сияет сад, и девочка бежит,
ещё свежо июня новоселье.
Ей весело её занятие — жить,
и всех любить, и быть любимой всеми.

Она и впрямь любима, как никто,
семьей, друзьями, мрачным гимназистом,
и нянюшкой, воззревшейся в окно,
и знойным полднем, и оврагом мгlistым.

Она кричит: «Я не хочу, Антон,
ни персиков, ни за столом сиденья!»
Художник строго говорит о том,
что творчество, как труд крестьян, — вседенно.

Меж тем он сам пристрастен к чехарде,
и сам хохочет, змея запуская.
Везде: в саду, в гостиной, в чердаке —
его усердной кисти мастерская!

А девочке смешно, что ревновал
угрюмый мальчик и молчал сурово.
Москву давно волнует Ренуар,
Абрамцево же влюблено в Серова.

Он — Валентин, но рёкло он отверг
и слыл Антоном в своеволие детства.
Уж фейерверк, спех девочки — наверх:
снять розовое, в белое одеться.

И синий бант отринуть до утра,
она б его и вовсе потеряла,
он — надоел, но девочка — добра
и надеванье банта повторяла.

Художника и девочки — кумир:
лев золотой, Венеции возглавье.

Учитель Репин баловство корил,
пост соблюдая во трудах, во славе.

А я люблю, что ей суждён привет
модистки ловкой на мосту Кузнецком.
...Ей данный вкратце, иссякает век.
Она осталась в полдне бесконечном.

Ещё сирень, уже произросло
жасминное удушье вокруг беседки.
Серьёзный взор скрывает озорство,
несведущее в скуке и бессмертье.

Пусть будет там, где персики лежат,
пусть бант синеет, розовеет блуза.
Так Мамонтову Верочку мне жаль:
нет мочи ни всплакнуть, ни улыбнуться.

В ночь на 4 марта 1999

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛУБОКИЙ ОБМОРОК

I. В Боткинской больнице	7
II. Отступление о Битове	9
III. Послесловие к I	10
IV. Посвящение вослед	12
V. Сюжет	15
VI. Мгновенье бытия	17
VII. Отступление о Носидэ	19
VIII—IX. Прощание с капельницей (Помышление о Кимрах)	21
X. Больничные шутки и развлечения	25
XI. Возвращение (после больницы)	28
XII. Ночь до утра	30
XIII. Закрытие тетради	31
XIV. Невольные прегрешения в ночь на 25 декабря	33
XV. Жалобы пишущей ручки	36
XVI. Предпроводы ёлки	38
XVII. Послание	40

ВОЗЛЕ ЁЛКИ

31 Декабря: к ёлке	45
Ночь возле ёлки	47
Он и я	50
Я и ночь и Галактион	52
Ночь под Рождество	56
Святочные колядки	60
Окоём и луна	64
Прегрешения вольных и невольных	70
На мотив икоса	73
«Девочка с персиками»	74

**В поэтической серии «Автограф», издаваемой
«Пушкинским фондом», вышли следующие сборники:**

- 1. **Б. Ахмадулина.** Ларец и ключ
- 2. **В. Салимон.** Невеселое солнце
- 3. **И. Лиснянская.** После всего
- 4. **Ю. Кублановский.** Памяти Петрограда
- 5. **И. Бродский.** В окрестностях Атлантиды
- 6. **Н. Кононов.** Лепет
- 7. **А. Пурин.** Евразия и другие стихотворения
- 8. **Е. Шварц.** Песня птицы на дне морском
- 9. **С. Гандлевский.** Праздник
- 10. **В. Гандельсман.** Там на Неве дом...
- 11. **В. Дроздов.** Стихотворения
- 12. **Л. Лосев.** Новые сведения о Карле и Кларе
- 13. **А. Цветков.** Стихотворения
- 14. **Д. Новиков.** Караоке
- 15. **И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- 16. **Т. Кибиров.** Парафразис
- 17. **Е. Шварц.** Западно-восточный ветер
- 18. **Б. Ахмадулина.** Созерцание стеклянного шарика
- 19. **В. Салимон.** Красная Москва
- 20. **В. Зельченко.** Войско
- 21. **Б. Кенжеев.** Сочинитель звезд
- 22. **А. Битов.** В четверг после дождя
- 23. **Л. Лосев.** Послесловие
- 24. **И. Лиснянская.** Ветер покоя
- 25. **В. Гандельсман.** Долгота дня
- 26. **Е. Шварц.** Соло на раскаленной трубе
- 27. **Т. Кибиров.** Интимная лирика
- 28. **В. Павлова.** Второй язык
- 29. **В. Кривулин.** Купание в иордани
- 30. **М. Ерёмин.** Стихотворения
- 31. **С. Кекова.** Короткие письма
- 32. **Б. Ахмадулина.** Возле ёлки
- 33. **Д. Новиков.** Самопал
- 34. **Т. Кибиров.** Нотации

Все книги серии тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных сборников обращайтесь
в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24

факс: (812) 273-52-56

**В серии книг «Зеркало», издаваемых
«Пушкинским фондом», вышли следующие тома:**

- **В. Яновский.** Поля Елисейские
- **Б. Ахмадулина.** Однажды в декабре
- **С. Гандлевский.** Трепанация черепа
- **В. Соснора.** Дом дней
- **Е. Шварц.** Определение в дурную погоду
- **А. Битов.** Дерево
- **С. Гандлевский.** Поэтическая кухня
- **В. Соснора.** Книга пустот
- **В. Соснора.** Камни NEGEREP

**В серии «Имя собственное»
выпущены книги:**

- **К. Победин.** Поэмы эпохи отмены рабства
- **А. Генис.** Темнота и тишина
- **О. Шамборант.** Признаки жизни

**«Пушкинский фонд» предлагает читателям
книги—лауреаты премии имени Аполлона Григорьева:**

- **И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- **В. Кальпиди.** Ресницы

Все книги серий тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных сборников обращайтесь
в издательство по адресу:

191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».

Информация по телефону: (812) 273-37-24

факс: (812) 273-52-56

А 95

Ахмадулина Б.

Возле ёлки: Книга новых стихотворений. — СПб.: «Пушкинский фонд», 1999. — 80 с.

ISBN 5—89803—033—6

ББК 84. Р7

Ахмадулина Белла Ахатовна

Возле ёлки

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 1999

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071 541 от 21 ноября 1997 года

Издательство «Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Подписано в печать 21.07.99 г. Формат 60x84 $\frac{1}{16}$. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 5. Тираж 1000 экз. Заказ № 444.

multiprint
MULTI-PRINT

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
«Полиграфический центр «MULTIPRINT»
190000, Санкт-Петербург, Прачечный пер., 6.
Тел./факс (812) 312-1304, тел. 312-2689, 312-2762

ПУШКИНСКИЙ ФОНД